

*О, холодная ясность в чертоге рассвета,
Мерный грохот валов — голоса океана.*

Л. Мартынов

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

На стене против письменного стола в кабинете моего деда висит морской пейзаж. Дело идет к вечеру, и свет, проникающий сквозь большие окна на четвертом этаже дома на Большой Конюшенной, отражается от края старинной позолоченной рамы и словно укрывает поверхность холста призрачной, незримой вуалью. Холст невелик — 40х32 см. Висят на стенах кабинета и две старые, в темных рамках начала восемнадцатого века английские гравюры, выполненные зеленоватой, цвета морской волны тушью.

На знакомой мне с детства картине ван де Вельде Младшего изображен английский парусник, попавший в грозу, — часть парусов убрана, часть сорвана налетевшим шквалом. Судно пытается уйти из прибрежной полосы. В памяти остаются реющий на мачте штандарт и тень судна на возвышающейся, с белыми гребешками волне на переднем плане. На заднем плане, ближе к береговой полосе, на фоне высокого холма терпит бедствие другое судно. Ветер сорвал с него паруса, и волны, похоже, несут его к берегу. Водяные горы, опасно накренившееся судно, отданное на волю разбушевавшейся стихии, проходящая стороной гроза и темно-зеленая вздыбленная масса воды, движение и освещение облаков, присутствие голубовато-фиолетовых обертонов и серо-розовых зон, высветляющихся к левому краю картины, — все передано легко, атмосферично и как бы безыскусно, но абсолютно виртуозно.

Семейная легенда утверждает, что заказчик полотна — владелец судна, чудом избежавшего кораблекрушения.

«In Londen, 1674» — написано кистью на обороте оригинального холста. Там же и подпись художника — Willem van de Velde de Jonge. Художнику в пору написания картины было чуть более сорока лет. Жил он в Гринвиче, на правом берегу Темзы, в просторном особняке с огромными окнами, из которых легко было наблюдать за проходившими парусниками.

Портрет Виллема Младшего, написанный Людвигом ван дер Гельстом незадолго до переезда де Вельде из Голландии в Англию в 1673 году, доносит до зрителя присущее облику Виллема Младшего гармоничное сочетание жизненных сил с ясным осознанием целей и намерений королевского

живописца. Еще при жизни его называли «Рафаэлем морской живописи».

2

Прошлое Стэнов, как это уже, наверное, ясно, довольно почтенное, и очертания его расплываются в балтийском тумане.

Мой дед, профессор-филолог А. А. Стэн — фигура для меня не совсем ясная и даже несколько загадочная. Я хорошо помню его желтые, аккуратно остриженные ногти и сопутствовавший его появлению запах табака. Голос его казался мне скрипучим, он покашливал. Иногда он переходил на немецкий. Одной из его любимых фраз была: «Dieser Mann ist ein Narr»¹, ею он иногда завершал дискуссию о том или ином персонаже. Нельзя сказать, что использовал он ее слишком часто, но фраза эта означала, что все разговоры об этом человеке прекращались.

Известно, что дед в совершенстве владел старыми и новыми языками северных стран и что несколько его книг по скандинавско-германской мифологии, опубликованных в конце двадцатых — начале тридцатых годов, по сию пору принадлежат к списку цитируемых историками культуры источников. Считалось, что никто лучше него не знает деталей жизни Вотана, Одина и дюжины других богов Валгаллы. В познаниях его, как это стало ясно со временем, нуждались не только студенты и историки, но иногда и военные аналитики, пытавшиеся разгадать планы немецких наступлений и контрударов, зашифрованных именами северных богов.

Говаривали, кстати, что познания довели А. А. Стэна до сумасшедшего дома, что, разумеется, означает лишь то, что вокруг моего деда хватало недоброжелателей. На самом же деле произошло вот что: в середине тридцатых годов его пригласили в Академию Генштаба в Москве прочесть лекцию о воззрениях викингов на искусство войны. Вскоре после этого дед по представлению Старокопытина, о котором речь пойдет ниже, был направлен в институт Ганнушкина, где вместе с бежавшим из Германии психоаналитиком еврейского происхождения принял участие в составлении психологических портретов персонажей правящей немецкой верхушки с приложением, в котором описывались возможные модели поведения этих лиц в кризисных ситуациях.

Участие деда, как рассказывала моя тетка Агата, выразилось в основном в полировке или, скорее, уточнении

перевода документа на русский с учетом специфики психоаналитической терминологии, постепенно, со времен изгнания Троцкого, оказавшейся не слишком уместной и приемлемой в России начала и середины тридцатых годов и оттого вытесненной в сферу подсознательного вместе с самим учением Фрейда.

Отдельного рассказа, как утверждала Агата, заслуживали и его поиски верного и уместного перевода слов, связанных с понятием *das Schicksal* (судьба, участь, рок, доля; слова эти не раз употреблял Сталин), поскольку немецкий психоаналитик использовал в своей работе и иные, синонимически близкие к *das Schicksal* слова: *der Tyche* — судьба-случай, *das Geschick* — судьба-сноровка, *das Los* — судьба-жребий, *das Verhängnis* — судьба-рок, и, наконец, *der Moira* — судьба в самом что ни есть античном смысле, символизируемая пряжей, что плетут Мойры, три сестры, дочери Ананке от Зевса: Лахесис, назначающая человеку жребий до его рождения, Клото, прядущая нить жизни, и Атропос, обрезающая ее в назначенный час. Сама же Ананке есть божество необходимости и неизбежности, персонификация рока, судьбы и предопределенности.

Коснемся, кстати, и еще одного интересного вопроса, связанного с судьбой немецкого психоаналитика. Официальная версия того, что произошло, когда разразившаяся через несколько лет война вплотную приблизилась к Москве, состоит в следующем: в столице началась эвакуация, уехали из города и сотрудники института Ганнушкина, а о психоаналитике забыли, имени его не оказалось в списке эвакуируемых сотрудников. Беглец и его жена, предполагая, что немцы войдут в Москву через несколько дней, покончили с собой во внезапно опустевшем доме.

Как правильно описать судьбу психоаналитика и его супруги? Что же произошло на самом деле? И было ли то, что случилось, связано с судьбой этого человека — *das Schicksal* (судьба, участь, рок, доля), — да и существует ли судьба вообще?

Следует при этом заметить, что сам дед, согласно одному из поздних рассказов Агаты, полагал, что психоаналитика и его жену намеренно отделили от коллег по институту Ганнушкина и оставили в Москве с тем, чтобы от него избавиться, ибо написанные им психологические портреты

нацистской верхушки ясно демонстрировали качества того человеческого материала, который поставляет «вождей».

Возможно также, говорил дед, что случившееся с немецким психоаналитиком и его женой объясняется тем, что кое-кто из верхушки захотел воспользоваться подходящей ситуацией и не только избавиться от него, но и «наложить лапу» (тут я повторяю выражение Агаты) на вывезенную им из Германии богатейшую библиотеку, коллекцию французской эротической бронзы и роскошную мебель.

— В 1941 году ему было пятьдесят пять, — сказал дед Агате, — он был ветеран Первой мировой с двумя Железными крестами. Его жена-немка была жесткая и сильная личность, под стать ему, я их живо помню, и поверь мне, — продолжал он, — такие люди не уходят из жизни по своей воле или за просто так. Сначала, после прихода Гитлера к власти, он бежал из Берлина в Швейцарию, откуда позднее уехал в Москву. Идея о «грандиозном эксперименте» была в те годы на Западе в большом ходу, но какими коврижками завлекли его, я не знаю. После начала репрессий он, конечно же, понял, кто нами управляет, — для этого достаточно было послушать, в чем эти управленцы обвиняли друг друга на московских процессах. Конечно, — добавил он именно тем тоном и в той же манере, которой, по утверждению Агаты, вещал с кафедры, — этот человек, а он был еврей, ощутил всплеск стихийного или, так сказать, народного антисемитизма, случившийся сразу после начала войны, но до прямых погромов дело не дошло, да и не могло дойти, ведь это означало бы вызов существующей власти, чего эта власть, естественно, допустить не могла, — добавил дед, возвращаясь к нормальной тональности, — мерзавцы, такие как Старокопытин, — продолжал он, чуть понизив голос, — понимали многие вещи каким-то инстинктом, и понимали их очень хорошо.

Сказал он это совершенно спокойно, рассказывала Агата, подобно врачу, сообщающему тяжело больному пациенту, что у того всего лишь легкое недомогание. Оставалось только догадываться, добавила она, кто именно из высших чинов мог быть заинтересован в приобретении коллекции отлитых в бронзе французских эротических фигурок и мебели, выдержанной в духе ар-нуво.

Что касается семьи моего деда, то вместе с бабушкой и моим отцом, которому в год начала войны исполнилось четырнадцать, они выжили благодаря специальному усиленному пайку, выдававшемуся от штаба округа. Работал дед и в Радиокомитете, где переводил на немецкий тексты пропагандистских передач, которые велись с линии фронта. Возвращаясь домой из Радиокомитета, А. А. Стэн время от времени заходил к сестре, которой он всегда пытался помочь. Сестра деда и ее муж погибли во время артобстрела зимой 1942 года. Их дети были вывезены в эвакуацию и по окончании войны остались жить в Средней Азии.

Воспоминания учеников А. А. Стэна, зачитывавших переведенные дедом на немецкий тексты из брошенных окопов на ничейной земле, были опубликованы в сборнике воспоминаний людей, участвовавших в обороне города. Чтецом стал и мой отец вскоре после того, как был призван и попал на фронт. Из его рассказов запомнились мне белый ослепляющий снег, мороз, патефоны и пластинки с песнями; особенно запала ему в душу песня «Die Fischerin vom Bodensee»², поскольку была связана с памятью о ранении; вспоминал он и тишину после окончания музыкальных пауз, и то, как звучали дребезжащие голоса чтецов на фоне возобновлявшихся звуков перестрелки.

После ранения под Кенигсбергом и недолгого пребывания в госпитале сын А. А. Стэна вернулся в строй и вскоре стал курсантом Военно-морской медицинской академии. Его курсантское удостоверение с фотографией молодого человека, внешне чем-то схожего со мной, хранится в правом ящике моего письменного стола.

Фотопортрет деда в сборнике посвященных его памяти академических трудов представляет его крупным пожилым мужчиной с большим, отлично вылепленным лбом и светло-серыми, почти прозрачными глазами за стеклами очков в тонкой металлической оправе. Его коротко подстриженная седая борода естественно завершает образ, характерный для уроженцев Севера. Он дожил до восьмидесяти и ничем особенным мне не запомнился, разве что тем, как рука его тянулась за чашкой кофе, оставляя позади крахмальную манжету рубашки с янтарными запонками, — возможно, поэтому рука его казалась мне в детстве бесконечно длинной. Обычно дед был погружен в себя, молчалив, любил кофе и однажды на моей памяти, обратившись к моей бабушке Аде, с тоской вспомнил о голландских сигарах. Раньше их запас

вместе с запасом сигарет для бабки время от времени восполнялся его возвращавшимися из заграничных командировок знакомыми; ароматы появившихся в начале шестидесятых годов кубинских сигар казались ему несколько чрезмерными. Помимо сигар дед любил хороший портвейн. Красноречивым он, как говорили, становился на кафедре, когда его подстриженная бородка взлетала и опускалась в согласии с развиваемыми им положениями. В одной из статей сборника упоминается и собранная им небольшая коллекция живописи, и то обстоятельство, что тишину своего кабинета предпочитал он всему остальному на свете.

Его жена Ада была моложе деда на десять лет и родила ему двоих детей, Агату и Александра, моего отца. Я хорошо помню бабушку, ее темные густые кудри и почти прозрачную розоватую кожу, летящий профиль и большие влажные карие глаза, светлые строгие шелковые кофты и длинные темные юбки. Иногда бабушка курила сигареты из табака с медовой примесью, вставленные в светлый мундштук слоновой кости. Моя тетка Агата утверждала, что сигареты были египетские.

Ада была дочерью еврейского провизора из Вильны. За несколько лет до начала Первой мировой войны провизор решил покинуть Российскую империю и уехал с семьей в Хайфу, где собирался поселиться под горой Кармель, в доме, который он приобрел во время своего путешествия в Палестину в 1910 году. Ада, однако, решила в Палестину не ехать, бежала из дома, крестилась и вышла замуж за польского композитора, чьими произведениями и антропософскими воззрениями она увлеклась еще с юности. Она получила приличное музыкальное образование и помимо польского и русского свободно изъяснялась по-французски и по-немецки.

— Думаю, она перешла в католичество, чтобы сочетаться браком со своим польским избранником, — пояснила Агата.

Впрочем, по мнению Агаты, само стремление Ады выйти замуж могло произойти не только от увлечения будущим мужем или его идеями, но и от стремления к независимости от того семейного уклада, что был ей знаком. И разумеется, ее будущий польский муж казался Аде настолько привлекательным, что она действительно сбежала из дому, приняла католичество и обвенчалась со своим возлюбленным. Ей нравилось глядеть в его ясные светлые глаза, утопавшие в тумане их собственного свечения, ее привлекали его светлые, аккуратно подстриженные усы, бородка и

правильные черты лица. К тому же она понимала, что муж боготворит ее, она физически ощущала исходявшие от него флюиды обожания. Вскоре они оказались в Петербурге, куда их привело ощущение небывалого творческого подъема, охватившее ее мужа Витольда после отречения Николая Второго и Февральской революции.

Сразу же после октябрьского переворота Ада, благодаря случайной встрече с одним из уроженцев Вильно, начала работать переводчицей в наркомате Троцкого, и молодая семья вселилась в небольшую квартиру в доме на Большой Конюшенной. Все время, свободное от лихорадочного заполнения нотами листов партитуры, муж ее проводил в Петербургской консерватории у профессора А. К. Глазунова, ради встреч с которым он, собственно, и приехал в Петербург. За окном лежала покрытая снегом улица с голыми черными деревьями, стопки листов нотной бумаги с партитурой балета-мистерии по либретто, написанному самим Витольдом, множились и постепенно перемещались с подоконника на письменный стол, а оттуда на черную крышку рояля, он же сидел над ними днями и ночами, не доверяя переписчикам, что в конце концов привело его к физическому и нервному истощению.

Зима выдалась чрезвычайно холодной. В начале февраля новое правительство и его департаменты переехали из Петрограда в Москву, и Ада перешла на работу в Петросовет. Вскоре Витольд тяжело заболел и в конце февраля умер от инфлюэнцы. «Он сгорел», — написала Ада в отосланном с оказией письме своей виленской подруге Агате.

Позднее она однажды сравнила события того черно-белого времени с попыткой выполнения «петли Нестерова» аэропланом, который не выдержал напряжения и развалился в воздухе.

Организацией похорон ее мужа занялся сотрудник Петросовета, человек по фамилии Старокопытин. Уступив требованию Ады, он распорядился отвезти гроб с телом покойного на Выборгское римско-католическое кладбище, где его похоронили в могиле, выкопанной в промерзшей земле. Когда гроб опустили в могилу и по крышке его застучали комья холодного грунта, она поняла, что пришедшие на похороны знакомые вскоре разойдутся и она останется одна. «Смерть разделяет, — подумала она, — как и вера». И ей вдруг пришло на ум, что следовало бы подумать о возможности отъезда в Хайфу. Но в это мгновение к

небольшой группе людей, провожавших в последний путь ее мужа, присоединилась пара, за минуту до этого внезапно появившаяся в кладбищенских воротах и быстро направившаяся к еще не доверху засыпанной могиле. Когда эти люди подошли ближе, она увидела знакомое, дорогое для нее лицо виленской подруги Агаты, которую сопровождал ее муж Сташек.

Оказалось, что они прибыли в Петроград для разрешения сложных финансовых обстоятельств, связанных с облигациями «Займа Свободы», выпущенными Временным правительством. Декретом СНК от 16 февраля 1918 года облигации мелких номиналов этого займа были приняты к обращению в качестве денежных знаков, и Сташек планировал превратить содержимое чемодана, набитого облигациями, которые он в свое время скупил за бесценок, во что-то менее эфемерное. По настоятельной просьбе Ады они поселились у нее и тем самым воспрепятствовали намерениям одного из ее коллег по работе в Петросовете переехать в небольшую квартиру, где она жила. Итак, Агата и Сташек поселились у Ады, и Агата не оставляла ее одну большую часть зимы.

Поначалу Сташек собирался приобрести драгоценности у местных ювелиров, но ювелиры требовали твердую валюту, и оттого Сташеку пришлось изменить направление своих усилий: теперь он пробовал скупать для начала живопись и антиквариат удобного для транспортировки размера. Несколько раз он предлагал Аде уехать вместе с ними в Вильно, клятвенно обещая помочь ей добраться до Хайфы, как только война на Ближнем Востоке закончится.

Шло время, Ада постепенно приходила в себя после смерти мужа, время от времени вспоминала о Хайфе, однако сама идея возвращения в родную семью ее никак не прельщала, она не желала даже и думать о родителях, их понимающих, всепрощающих взглядах, вздохах сочувствия, вопросах, своих вынужденных рассказах и подобном, сопутствующем любому возвращению, аккомпанементе. И вместе с тем ничего, решительно ничего не удерживало ее в Петрограде; возможно, она и покинула бы его, если бы не встреча с виленской подругой, а затем уже и знакомство с соседом по лестничной площадке доцентом А. А. Стэнном.

Попробуем объяснить... Аде нравилось само название города, в самом этом слове — Хайфа — звучал, казалось, и

реверберировал юг, нота «фа», солнце и бесконечная морская гладь, и все это рикошетом, по касательной (а именно такой способ установления связей был для нее характерен), наводило на мысли о Майорке, где однажды провел зиму Шопен, чьи баллады она играла на укутанном в попону рояле. Более того, в один из темных и вьюжных январских дней незадолго до своей смерти муж обещал ей, что после завершения работы над его *opus magnum* они отправятся в Вальдемоссу. Собственно, именно этот рояль и был причиной того, что Ада и ее муж оказались в оставленной хозяином квартире. После Октябрьского переворота в городе начались грабежи и повальное пьянство, а матросам, наводившим революционный порядок в серо-синей мгле холодного и пьяного города, нравилось врываться в особняки и выталкивать рояли с антресолей на булыжник и брусчатку мостовых.

Рояль в квартирке на Большой Конюшенной был именно тем, что хоть как-то примиряло Аду с происходившим вокруг. И если до этого она знала, что присутствовавший в ее жизни и в жизни ее мужа элемент безумия совершенно естественно связан с их собственным выбором — при желании они могли бы построить свою жизнь иначе, — то теперь никакой возможности не то что вернуться в какую-то более или менее нормальную жизнь, а и просто увидеть ее не было.

Одним из немногих материальных свидетельств этой ушедшей в никуда жизни был укрытый попоной «Бехштейн», всегда ожидавший, казалось, приближения Ады, обнаружившей в брошенной квартире еще и богатую коллекцию нот для фортепиано. Лежали на полках и черновые наброски нескольких фортепианных пьес, свидетельствовавшие о современных вкусах и новаторских устремлениях ученика Глазунова, в один прекрасный момент покинувшего эту небольшую, но уютную квартирку и, после недолгого пребывания в Выборге, уехавшего в Финляндию, а оттуда в Париж, где музыкальная судьба его не сложилась из-за ссоры со Стравинским. Позднее, к концу тридцатых годов, ему пришлось отправиться за океан, в Голливуд, где он окончательно сформировался как композитор и написал музыку к ряду известных фильмов.

— Мы искали квартиру с роялем, — объяснила Ада причину своего появления в доме на Большой Конюшенной Александру Александровичу, проживавшему вместе с

родителями в соседней квартире, — и один из знакомых моего мужа предложил нам пожить здесь, в его квартире, поскольку собирался уехать в Выборг. А в этой квартире стоит «Бехштейн» с замечательным мягким звуком, на нем удобно играть Шопена.

Их первая беседа связана была с поисками электромонтера — в квартире, где жили Ада, Агата и Сташек, погас свет.

А. А. Стэн вслушался в звуки ее голоса, что было профессиональной привычкой филолога, — за польским акцентом его соседки скрывалось что-то еще... «Похоже, это отзвук еврейской крови», — подумал он, прислушиваясь к ее дыханию; на улице было еще светло из-за снега, но на темных лестничных площадках света не доставало — лампы были разбиты.

Выяснилось, что в квартире, где жила Ада, перегорела фарфоровая электропробка с металлическим ободком и ее следует заменить, что и было сделано немедленно — по счастливой случайности в чулане у А. А. Стэна нашлась картонная коробка с запасными пробками. Когда в квартире, где недавно скончался польско-литовский композитор, вспыхнул свет, А. А. Стэн, спустившись с табурета, посмотрел в лицо Аде. При этом он ощутил, что вибрации и обертона в голосе его собеседницы волнуют его, он вдруг почувствовал себя моложе. Ему было двадцать восемь в ту пору, и он полагал себя зрелым, сложившимся человеком.

— Так это вы играете Шопена? — спросил он, имея в виду те пьесы, отрывки которых он иногда слышал, поднимаясь по лестнице и открывая дверь в квартиру, где жил один.

Его родители с недавних пор жили с его сестрой на Петроградской стороне. В то время звуки фортепьянной музыки были слышны нечасто, им на смену пришла музыка духовых оркестров. Проходя по городу, он не единожды видел, как с верхних этажей летели вниз, на булыжник рояли, и каждый раз предсмертный, в восемь октав вопль упавшего инструмента заставлял его вздрагивать. Он любил музыку и был знаком с бежавшим за границу обитателем соседней квартиры. Литература, надо сказать, интересовала его меньше, чем музыка, которую он почитал метаязыком. Несмотря на возраст, его отношения с женщинами исчерпывались несколькими довольно банальными историями, так он оценивал их сам в своих обращенных

к Агате уже после смерти Ады признаниях. «В них отсутствовала музыка, все исчерпывалось несколькими словами», — объяснял он.

Что до событий, создавших фон того серо-белого дня, что познакомил его с Адой, то надо сказать, что А. А. Стэн, рожденный в городе, именуемом окном в Европу, не до конца понимал, кто такие и чего хотят пришедшие к власти в результате Октябрьского переворота люди, руководители которых вскоре покинули Петроград и переехали в Москву.

Агата и Сташек прожили в квартире с роялем до осени, и когда их подготовка к отъезду приобрела наконец оттенок неотвратимости, Сташек в последний раз спросил у Ады, собирается ли она вернуться в Вильно, который к тому времени стал польским городом, с тем чтобы жить там или направиться оттуда в Хайфу, где жили ее родители, братья и сестры. В ответ Ада сообщила Сташеку, что остается в Петрограде с А. А. Стэном. По счастью, Сташек и Агата сумели выехать из Петрограда и пересечь русскую границу в середине сентября 1918 года, за несколько дней до принятия декрета «О запрещении вывоза и продажи за границу предметов особого художественного и исторического значения». Прошло еще несколько недель, и 5 октября 1918 года Совет народных комиссаров принял декрет «О регистрации, приеме на учет и охранении памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений».

3

А. А. Стэн получил благословение родителей на вступление в брак с Адой лишь через год после их первого разговора на полутемной лестнице. Всему виной были ее дыхание, голос и акцент, которые усиливали исходившее от нее ощущение несоответствия ее существования обстоятельствам места и времени; все это было странно и неожиданно: одинокая, без друзей и связей пианистка оказалась в Петрограде именно в то время, когда многие весьма достойные люди бежали из города.

Еще в первую свою встречу с Адой на лестничной площадке А. А. Стэн прочитал в ее взгляде рассказ о чужой жизни, которая никак не вращалась в эту среду, в эти камни и низкие небеса, и, возможно, именно по этой причине ему захотелось эту жизнь защитить, и он первым делом заговорил с Адой по-французски — немецкий язык в ту пору был бы

ошибочным выбором. Итак, он заговорил с нею по-французски; в юности он не раз отдыхал с родителями в Вильфранш-сюр-Мер, и возможность поговорить на французском всегда его радовала. Беседы на иностранном языке сразу же отвлекали от того, что происходило за окном, или хотя бы предоставляли возможность иных суждений. Более того, они еще и создавали другое, отдельное пространство для А. А. Стэна и Ады.

Объяснить все это его родителям было не очень просто, но тут помогла музыка, она доносилась до них через стену с того самого дня, когда они вернулись на Большую Конюшенную от его сестры, проживавшей с мужем и дочерью на Петроградской стороне. Родители не желали становиться в тягость сестре А. А. Стэна и, несмотря на все ее заверения в противном, вернулись к себе домой, когда страшная и тяжелая зима окончилась. К тому времени, когда они в конце концов дали свое благословение на брак А. А. Стэна и Ады, снова началась зима. Ада уже уволилась из Петросовета и теперь работала аккомпаниатором в училище при консерватории, с директором которого А. А. Стэн был знаком еще со времен учебы в Петришуле, славившейся уровнем преподавания иностранных языков.

— Конечно, — сказала Агата, — с точки зрения родителей отца это был мезальянс. Поначалу их ужаснула сама идея брака твоего деда с Адой, сменившей иудейское вероисповедание на католицизм и переехавшей в Петербург из Вильно, они опасались, что сын их станет жертвой международной авантюристки. Да, они были против, но дед оказался непреклонен. Вопрос, в сущности, шел о некоем формальном согласии, и в итоге они все же сочли, что лучше согласиться на брак А. А. Стэна с Адой, чем потерять сына. К тому же в Питере у Ады не было никаких родственников. И надо признать: в конце концов Ада очаровала и деда, и бабу, — заключила Агата, предпочитавшая называть мою бабу по имени. — Твой прадед, — добавила она, — был в свое время довольно известным адвокатом, а прабабка полагала, что Александр — всего лишь официальное имя сына, домашним же именем считала Nicolas. Это имя ей нравилось гораздо больше, чем Александр, и она смягчилась, узнав, что Ада разговаривает с ее Nicolas по-французски. Это как будто возвращало некий оттенок естественности тому, что происходило и могло произойти в пределах занимаемой Стэнами квартиры.

Из рассказа Агаты следовало и то, что прадед с женою хотели уехать из Петрограда сразу же после переворота, но сначала их задержала тяжелая болезнь прабабки, из-за которой они и переехали к сестре А. А. Стэна. Позднее, в 1922 году, им удалось уехать в Берлин, а оттуда во Францию. Агате в то время едва исполнилось два года, и она их не помнила.

Дед же, как я понимаю, оказался заложником своей в ту пору должности заведующего кафедрой скандинавских языков в университете и, возможно, наивной, но искренней веры в то, что все постепенно образуется. Никак не могу исключить и того, что какую-то роль в поддержании этой веры сыграла и Ада, наблюдавшая за действительностью через призму своего увлечения учением доктора Штайнера и не испытывавшая желания двигаться в неизвестность с маленьким ребенком на руках. Но, полагаю, основной причиной в его намерении ничего, по возможности, не менять в своей жизни была его любовь к своему кабинету, книгам и морскому пейзажу на стене. Что до Ады, то ее он, конечно же, любил, но любил как-то особенно, любовью интроверта, как любит хозяин клетки нежданно попавшую в нее редкую, драгоценную птицу.

Последовавшее десятилетие поначалу, казалось, подтверждало надежды деда на то, что все как-то устроится, но в тридцатые годы все изменилось, и изменилось достаточно резко. И хотя последовавшие за убийством Кирова высылки не затронули деда и его семью, вера его в то, что все как-то образуется, была к тому времени уже сильно поколеблена происходившим вокруг.

К моменту же встречи с немецким психоаналитиком во второй половине тридцатых годов вера эта окончательно увяла, сменившись ощущением медленного, но неустранимого движения в сторону нового средневековья, чему находил он немало подтверждений, — взять хотя бы новое закрепощение крестьян в так называемых колхозах. Особенное же впечатление на него произвело сожжение книг в Берлине, в связи с чем припомнил он высказывание немецкого поэта Генриха Гейне: «Это была лишь прелюдия, там, где сжигают книги, впоследствии сжигают и людей». Позднее он узнал, что ту же фразу припомнил и проживавший в Вене основатель психоанализа Зигмунд Фрейд.

Новая квартира Стэнов, возникшая из объединения старой с небольшой, почти что холостяцкой квартиркой, в которой до отъезда в Выборг жил ученик Глазунова, пережила послереволюционные переделы собственности и осталась нетронутой благодаря «охранной грамоте», выданной деду членом коллегии НКВД, для которого дед переводил секретные письма и документы особой важности. После ликвидации Зиновьева этот человек с тяжелой фамилией Старокопытин оставался в Ленинграде, а позднее верно служил убийцам своего прежнего хозяина в Москве.

Однажды Агата рассказала мне, что когда человек от Старокопытина появлялся у деда с нуждавшимися в срочном переводе документами, дед немедленно оставлял все свои занятия и принимался за переводы, а посыльный в ожидании окончания работы сидел у него в кабинете, пил чай и поглядывал на пейзаж ван де Вельде Младшего. Из рассказа Агаты следовало, что кое-какие документы, переведенные дедом, имели отношение к продаже картин из Эрмитажа.

— Есть что-то загадочное, — добавила она, — в близости фамилии Старокопытина и названия нашей улицы, хотя уж ты-то знаешь прекрасно, что ни к мистике, ни к чему-либо подобному никакой склонности я не испытываю. Твой дед, кстати говоря, ужасался тому, что происходило, и не только с картинами, — поясняла Агата, — но что он мог сделать? А о картинах в то время говорили, что их надо продавать, поскольку стране нужны трактора.

Возможно, именно эти случайности — тут я говорю о кратком знакомстве со Сташеком и длительном общении со Старокопытиным — пробудили интерес деда к расширению семейной коллекции. Доверял он лишь собственному глазу, знаниям и поразительной памяти, к советам же других коллекционеров относился весьма критически, часто повторяя крылатую фразу: «Несмотря на подпись, вещь подлинная».

О многих событиях прошлого узнал я из рассказов Агаты и теперь понимаю, что мое ощущение природы ушедшего времени связано с прихотливым и не всегда объяснимым устройством ее памяти. Агата была несколько выше ростом и стремительней в движениях, чем ее мать, на которую она

немного походила. В обычные дни и при электрическом освещении Агата выглядела темно-русой, в солнечные же дни она казалась почти темно-рыжей, случалось это, когда луч света падал на ее голову. Родилась она в 1920 году, и хотя к тому времени, когда Агата пошла в школу, в семье стали чаще говорить по-русски, статус французского и немецкого языков в их доме никак от этого не пострадал.

Юность Агаты отмечена поездками в Крым и на Кавказ, а также полетами на планере. В конце тридцатых годов завязавшаяся еще в Крыму дружба с одним из секретарей комсомола привела Агату в столицу, где она продолжила свое обучение в ИФЛИ и начала работать на радио, когда ее отношения с секретарем комсомола подошли к концу. Произошло это после того, как жена комсомольского секретаря, статная женщина родом из Вологды, потребовала от мужа немедленно прекратить связь с «этой ленинградской выскочкой», угрожая в противном случае обратиться в ЦК. Муж ее подчинился требованиям партийной дисциплины, чего Агата не смогла ему простить. Позднее, однако, его перевели из Москвы в Самару, а вскоре после этого арестовали и сослали туда, куда *Макар телят не гонял*. Поразительно, но Агаты эта история никак не коснулась. «Ты не поверишь, но среди этих деятелей попадались иногда и приличные люди», — призналась она как-то раз в поздние свои годы.

Всю войну Агата провела в Москве, во французской редакции «Московского радио». Основам французского и немецкого она выучилась дома, остальное пришлось в годы учебы. «Языки — это то важное, что необходимо изучать с детства», — говорила она. И в самом деле, в свое время знание языков помогло ее матери найти приемлемую форму сосуществования с родителями деда. «Сначала она старалась не говорить с ними по-русски, стесняясь своего легкого акцента, только по-французски или по-немецки, знание этих языков связано было с ее виленским детством и юностью», — поясняла ее дочь, так и не завершившая курс обучения в ИФЛИ, так как институт уехал в Ашхабад, в эвакуацию вскоре после начала войны.

В начале мая 1945 года Агата вернулась в Ленинград. В конце августа она родила сына. «Старый Стэн», как иногда называли моего деда, был, как говорили, строг с моим отцом и нежен с Агатой. Когда Агата отказалась не только от намерений, но и от самой мысли о том, чтобы выйти замуж за отца Андрея, дед усыновил ее ребенка и тем самым

избавил внука от необходимости делать прочерк в графе анкеты, требовавшей назвать имя его отца.

Агате не хотелось отдавать Андрея в чужие руки до того времени, пока ему не придет пора идти в школу, поэтому она давала уроки, занималась переводами с французского и бегала в поисках работы по театрам и издательствам. Во второй половине пятидесятых Агате удалось получить диплом об окончании МГУ, с которым ИФЛИ воссоединился в Ашхабаде, в эвакуации. Теперь она переводила и литературно-критические статьи, и труды по истории, и прозу самых разных жанров. Книги скрытых и явных экзистенциалистов, гуманистов и сочувствующих гуманизму писателей, лауреатов Гонкуровской премии и премии Ренодо, а иногда и книги лауреатов премии Фемина теснили друг друга на ее письменном столе, она часто бывала на встречах с приезжавшими в Ленинград деятелями культуры и порой восторгалась совсем уж малопонятными их замечаниями. Ее очаровало высказывание Ж.-П. Сартра: «Всегда можно понять идиота, ребенка, дикаря или иностранца, достаточно иметь необходимые сведения»; нравились ей и слова Ленина: «Все мы — мертвецы в отпуску», наряду с приписываемой ему репликой «Никто не умрет без разрешения». Ей импонировала решимость вождя революции запретить *смерть* как таковую, поясняла она. «Запретить смерть, но как? — спрашивала она сама себя и сама же себе отвечала: — Под страхом смертной казни». «Неужели вы думаете, что вам позволят умереть без разрешения?» — спрашивала она порой у собеседников и заливалась смехом, видя их искреннее недоумение.

Какое-то свойственное ей чувство или предчувствие «черного юмора» заставило ее однажды утверждать, что Сталин любил повторять свою известную фразу «Жить стало лучше, жизнь стала веселей...» каждый раз после окончания очередного траурного митинга на Красной площади. Сказано это было в ходе разговора с ее младшим братом, рожденным в 1924 году. Услышав эти слова, мой отец не удержался от улыбки — шел конец шестидесятых, — но затем нахмурился и заметил:

— Не стоит говорить это всем подряд, Агата.

На что Агата немедленно возразила:

— А ты, Саша, это совсем не все подряд, не так ли? — и посмотрела на мою мать со значением.

Агата никогда не отказывалась от работы, связанной с переводами, но сердце ее принадлежало театру, и спектакли по нескольким французским пьесам в ее переводах шли с неизменным успехом. Легкие пьесы, комедии и трагифарсы — все они в какой-то мере соответствовали доминирующим нотам ее мировосприятия. Интересная особенность ее работы для театра состояла в том, что переводимые пьесы приходилось тем или иным образом адаптировать к условиям советской жизни, учитывая требования реперткомов, капризы режиссеров, реальность цензуры, правила приличия, втайне высмеиваемые, и актерские, порой самые невероятные темпераменты. Так, следуя требованиям одной из премьерш, а именно «мамзель Анцишкиной», как называла ее Агата, ей приходилось вносить в ремарки дополнительные указания о туалетах ее будущих героинь. «Я не могу с ней спорить и губить свой труд», — говорила Агата.

Работу свою она любила и делала ее с блеском. Когда у нее спрашивали, отчего она сама не пишет пьесы, Агата обычно уточняла: «Какие? Французские?»

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru